

О ВКЛАДЕ НЭНСИ РИС В "РУССКИЙ МИФ"

Когда читаешь по-настоящему интересную книгу, возникает желание, чтобы и другие ее прочитали. Я рекомендовал книгу Н. Рис своим аспирантам как образец умения вслушиваться, понимать и, главное, видеть нетривиальное в тех спонтанных сообщениях, которыми мы постоянно обмениваемся в своей повседневной жизни. Удивительным образом книга, адресованная другим читателям, оказалась не менее интересной тем, о ком она написана. Такое бывает редко, особенно в тех случаях, когда автор принадлежит другой культурной традиции. Как правило, после чтения работы "о себе" возникает ощущение, что автор не заметил чего-то, может быть, и не главного для общей концепции работы, но того, что не дает принять ее полностью и безоговорочно. Это и естественно, поскольку фоновые знания носителя описываемой культуры сложнее по определению. Кроме того, каждый человек тщательно оберегает свою идентичность и противится всякой попытке "разобраться" в ней, тем более если такую попытку предпринимает "чужой". Добавим к этому известную пресуппозицию "непереводимости своего" и получим знакомое ощущение настороженной заинтересованности и почти априорного несогласия с мнением иностранца о нашей жизни. Вот этого ощущения при чтении книги у меня почти не возникло, и это было, пожалуй, самой большой неожиданностью. Попадание, рискну сказать, почти стопроцентное. Об этом "почти" и пойдет речь.

Книга Н. Рис дает хороший повод обсудить столь актуальную (и не только в последнее время) тему "русскости". Эта тема настолько отягощена всевозможными спекуляциями (от образа народа-богоносца до мифа о загадочной русской душе и пр.), что необходимо попытаться хоть немного прояснить это понятие. Концепт русскости имеет вполне обозримую историю, поскольку начало его формирования относится к позднему времени. Как и любой другой образ культуры (русской, немецкой, грузинской), он создавался и продолжает создаваться с двух точек зрения: внешней (иностранцами наблюдателями) и внутренней ("русские о русском"). При этом хронологически первыми были, разумеется, наблюдения и обобщения с внешней точки зрения. Каждая культура сначала создает образы "чужого", а уже затем приступает к осмыслению и описанию "себя". Как известно, образы "чужого" основываются на эффекте необычности других культур. Фиксируется то, чем они отличаются от "своей". При этом "свое" считается нормой, а норма до поры до времени не замечается и не описывается. Поэтому самоописания в любой культуре (и русская здесь не исключение) возникают позже описаний извне, и усваивают из "внешнего текста" прежде всего тезис о своей уникальности. Если огрубить ситуацию, то можно сказать, что миф о "загадочной русской душе" (как и о не менее загадочных немецкой, румынской и т.д.) создавался на первых порах иностранцами. И это естественно. Русские были (и остаются) загадочными для других, но никак не для себя.

Тему уникальности русских и необычности русской жизни добросовестно разрабатывали С. Герберштейн, И. Масса, С. Коллинс, де Кюстин и многие другие иностранцы, посещавшие русские земли начиная с XVI в. и оставившие после себя записки, полные удивлений и восклицаний. Позже (примерно с конца XVIII в.) к этому увлекательному занятию подключились и сами русские, поскольку к этому времени появилась необходимая для рефлексии социальная и интеллектуальная дистанция между те-

Альберт Кашфуллович Байбури – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Музея антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, профессор факультета этнологии Европейского университета Санкт-Петербурга.

ми, кто мог занять отстраненную позицию по отношению к своей культуре (элитой), и социальными низами, которые стали называться "народом". Карамзин, Пушкин, Гоголь, Достоевский и другие соотечественники оставили после себя многочисленные наблюдения над рускостью. Собственно, это был тоже взгляд со стороны, поскольку истинными носителями русскости считались представители "простого народа". Другими словами, русскость конструировалась элитой, но приписывалась "народу". Сам "народ" не был озабочен своей рускостью. Вплоть до самого позднего времени локальное сознание было важнее. Показательно, что в "Пословицах" В. Даля все паремии о "русском" уместаются на одной странице, в то время как о нравах новгородцев, москвичей, псковичей и жителей других губерний – на порядок больше.

На сегодняшний день текст русскости представляет собой конструкт, синтезирующий внешнюю и внутреннюю точки зрения на специфику русской культуры. Книга Н. Рис, вне всяких сомнений, займет свое место в этом гипертексте. Что же нового мы узнали о себе? Как мы выглядели со стороны в начале 1990-х?

Прежде всего оказывается, что главной составляющей социальных практик того времени являлось говорение. «*Говорение* – во всех видах и формах – есть ключевая составляющая производства социальных парадигм и практики и воспроизводства того, что часто называют "рускостью"» (с. 23 книги Н. Рис). Действительно, каждое общество вырабатывает свои способы преодоления кризисных ситуаций. У русских разговор становится своего рода ритуалом, который, как и всякий ритуал, имеет психотерапевтический эффект. Собственно о том, что русские привыкли выражать свое отношение к тяготам жизни преимущественно в словесной форме, говорила еще Екатерина II ("В России упражняются в тихом роптании"), да и не только она. Несомненной заслугой Н. Рис стало то, что это "тихое роптание", незаметное нам уже в силу причастности к нему, стало основным предметом ее исследования.

Замкнутость на разговорах можно объяснить полным неверием в возможность как-то повлиять на ход событий. Это неверие в собственные возможности и следующие отсюда пассивность, готовность принять любые удары судьбы предопределили характер и тональность разговоров, основой которых, по мнению Н. Рис, являются жалобы на свою тяжелую участь. Любопытно, что Анна Вежицкая пришла к сходным заключениям на языковом материале, когда писала о "неагентивности русского языкового сознания".

Н. Рис назвала русские жалобные речи нерусскими терминами *литании* и *ламентации* к немалому удивлению завсегдатаев Интернета, которые были поражены не меньше известного мольеровского героя (обнаружившего, что он всю жизнь говорил прозой) тем, что оказывается, мы всю жизнь "литанируем" и "ламентируем". Разговоры интерпретируются автором не только в синхронном контексте, но и в диахронии. Синхронные интерпретации явно превалируют и именно здесь виден профессионализм, чутье и тонкость авторской работы. Экскурсы вглубь, на поиски корней выявленных схем, занимают гораздо меньше места, но как раз они явились для меня источником некоторого недоумения.

Между тем эти экскурсы придают совсем другой статус русским стонам. Это уже не характеристика русских разговоров 1990-х годов. В подтексте – так было всегда и это было свойственно именно русским. Корни lamentаций обнаруживаются, разумеется, в фольклоре. "Можно увидеть сложную непрерывную связь между традиционными русскими плачами, комплексом Гора-Злосчастья и современными литаниями, широко звучавшими в годы перестройки. Концептуальные модели, по которым строился курс о мире, обнаруживают удивительное сходство с соответствующими моделями современной русской речи. Лamentация, оплакивание оказывается тем же главным выражением того же основного мироощущения, которое мы видим и во время перестройки, в конце XX в., и сто лет назад; те же самые ценностные оппозиции определяют драматическое напряжение сегодняшнего разговора" (с. 217).

Из предшествующей этой цитате картины, нарисованной Н. Рис на трех страницах, создается впечатление, что русский фольклор – сплошной стон и ламентации. Если это в какой-то мере и соответствует действительности, то во многом благодаря усилиям советских фольклористов. Вообще нужно сказать, что представления о русском фольклоре не только у иностранцев, но и у самих русских полны самых невероятных искажений. Дело в том, что русский фольклор записывался, а тем более публиковался, всегда выборочно. Корпус опубликованных записей представляет собой в высшей степени искусственное явление, которое имеет весьма отдаленное отношение к реально функционировавшему фольклору. Плачам отводилось особое место не только потому, что этот жанр довольно редкий и записать плач считалось большой удачей (исполнители, как правило, отказывались причитать без соответствующего повода), но и потому, что ему приписывалась определенная социальная значимость. Не случайной основой корпус плачей был записан и опубликован в советское время с вполне прозрачной целью: показать, как тяжела была жизнь при царизме. То же можно сказать и о текстах, разрабатывавших тему "горя-злосчастья". "Повесть о Горе-Злосчастье" и сопутствующий круг текстов несколько раз издавались в советское время отнюдь не потому, что пользовались повышенным читательским спросом. Причины другие: заниматься такой темой и публиковать такие тексты было вполне безопасным занятием.

Параллели между традиционными страданиями и описываемыми Н. Рис литаниями основываются, в частности, на том, что в обоих случаях присутствуют образы жертвы и мучителя. Однако характер отношений между мучителем и жертвой в фольклорных текстах не так однолинеен, как это может показаться. Он во многом определяется жанровой принадлежностью этих текстов. В сказках и эпических повествованиях (в отличие от плачей) герой, как правило, побеждает мучителя, так что ни о какой беспросветности и беспомощности речь идти не может. Вообще, если рассматривать "фольклорную" линию более серьезно, то картина получится не столь однозначной, а связь между старинными плачами и современными жалобами – не такой "непрерывной", как это представляется Н. Рис.

Вернемся к теме русскости. У меня нет оснований не доверять выводу автора: "Единообразие речевой практики моих московских информантов было гораздо более очевидным, чем заявленные ими этнические отличия" (с. 27). Наверное, и в самом деле, еврей, татарин и армянин в этой ситуации чувствовали себя примерно так же, как и русские, о чем свидетельствуют их нарративы, во многом похожие на собственно русские. Тем не менее внимательное отношение к деталям позволило бы увидеть специфику речевых стратегий и тактик, несмотря на то, что армянин, разговаривающий по-русски, да еще и с иностранкой, будет стараться соответствовать речевым ожиданиям собеседника. В любом случае непонятно, почему речь идет о *русских* разговорах и вообще о *русскости*? Потому что разговоры велись по-русски? Н. Рис не относится к числу тех иностранцев, для которых все проживающие в России – русские. Наверное, корректнее было бы говорить о советскости и, соответственно, о советском человеке, оказавшемся перед лицом сокрушительной ломки устоявшихся ценностей и отношений. Тем более что сама автор пишет в связи с вопросом об этнической идентичности ее информантов: "Немало исследований специально фокусируется на безусловно актуальной теме этнической идентичности и нарративных средств ее выявления; но я, напротив, более склонна к поиску общего в разных речевых стилях и системах референций, к анализу того, как личные и локальные дискурсы встраиваются в более широкие идеологические рамки данного общества в целом" (Там же). Получается, что если объединить "русское", "еврейское" и "грузинское" и попытаться обнаружить в этой смеси нечто общее, то таким общим окажется "русское". Видимо, погружение автора в нашу культуру не прошло для нее бесследно.

То обстоятельство, что армянский и татарский разговоры с точки зрения Н. Рис, принципиально не отличались от русского, является существенным и в другом аспек-

те, а именно при сопоставлении выявленных автором тем и образов не только с фольклорными, но и с религиозными представлениями. Почему в таком случае речь идет исключительно о православии? Конечно, можно предположить, что советская культура была основана преимущественно на "традиционной русской культуре", но такое предположение требует гораздо более масштабных и глубоких исследований, чем те, на которые ссылается Н. Рис на с. 57. Мне кажется, что полудилетантские¹ вылазки в области фольклора и религиозности лишь компрометируют интереснейшие наблюдения Н. Рис о социальных практиках 1990-х годов.

Автор не ставил перед собой вопроса о том, в какой степени разговоры о страданиях и "сакрализация страданий" соответствовали реальным практикам. Но этот вопрос так или иначе всплывает в самой книге. По-моему, надо учитывать то естественное обстоятельство, что упиваются страданиями, как правило, те, кто по-настоящему не страдал. И совершенно справедливо Н.Я. Мандельштам прокомментировала реплику Ахматовой о "зависти" русских эмигрантов к страданиям тех, кто остался дома, сказав, что это вопиюще неточно. Одно дело риторика страдания (и здесь Н. Рис во многом права), а другое – само страдание. А ведь таких людей в России тоже немало.

Если говорить об отсутствии рациональности в русских разговорах, то следует иметь в виду один существенный момент, который основан на несовпадении общего и индивидуального. Обычно, когда речь идет о ситуации в России вообще, то возникают образы беспросветности и тупика. Однако каждый отдельный человек видел в этом тупике свой выход. Стратегии выживания в России носят индивидуальный характер и дальше семьи обычно не распространяются. Именно на индивидуальном уровне они вполне рациональны и аналитичны. Но этот уровень социального прогнозирования, как правило, не является темой общих разговоров, тем более в присутствии иностранки.

Поскольку это книга о нас (следовательно, и обо мне), при ее чтении я постоянно задавал себе один и тот же вопрос: так ли? Соответствует ли излагаемое автором моему представлению о том, что происходило и какие разговоры в то время велись? Мои ответы себе были, как правило, утвердительными: да, пожалуй, такие разговоры были вполне типичными. Но я помню и свои ощущения того времени, которые не во всем вписываются в картину Н. Рис. Я был обеспокоен не столько тяготами жизни (может показаться странным, но они почти не отложились в моей памяти), сколько тем, что все может повернуться вспять. Вот это по-настоящему тревожило. Я не мог поверить, что с прежним строем покончено навсегда (и боюсь, что это ощущение может оказаться верным).

Примечание

¹ Приведу лишь два примера. На с. 216 Н. Рис пишет: «Поразительно, но по сей день в России еще очень живо представление о полуперсонифицированном Горе-Злосчастье: чего стоит неизменное "тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить" через левое плечо, сопровождающее рассказ человека о чем-либо хорошем или сулящим определенные жизненные перспективы». Это представление связано не с "полуперсонифицированным Горем-Злосчастьем", а с дьяволом, который, в соответствии с традиционными представлениями, всегда незримо находится за левым плечом человека, в то время как ангел находится за его правым плечом. На с. 242 к рассказу бывшего детдомовца о валявшемся на дороге куске хлеба дается следующий комментарий: «Можно отметить, что валяющиеся на дороге предметы всегда воспринимались как "порченые" или "заколдованные"» (Ivanits 1989: 103). Я напоминаю об этом, чтобы показать, как в истории Семена Аркадьевича находят отклик традиционные русские верования. Действительно, предметы, обнаруженные на дороге, считались "порченными", за исключением хлеба. Хлеб, найденный на дороге, предвещал счастье и удачу. Сводку материала см.: *Страхов А.Б. Культ хлеба у восточных славян: Опыт этнолингвистического исследования. München, 1991. S. 79.*